

*Жак-Эмиль Блани о Фантен-Латуре.
Фрагмент очерка.*

То было время, когда любовь к ремеслу не мешала художникам смотреть работы товарищей по цеху, выказывать к ним интерес и воздавать должное всякому, в ком они находили достоинства. Дега и Мане тоже не пропускали ежегодный Салон – все пути вели в Салон; не стремились туда лишь те, кто, подобно импрессионистам, чьи имена были уже на слуху, однажды пытались пройти суровый отбор. Мане никогда не отказывался от участия; Почетная медаль доставила бы ему величайшую радость. Да и члены жюри, пусть над ними между собой и посмеивались, пользовались безусловным авторитетом в обществе.

Заседания жюри по распределению наград длились неделями; следуя за зрителями, господа-эксперты переходили из галереи в галерею. И вот, наконец, портьеры перед входом в зал смыкались, звенел колокольчик председателя. Торжественный ритуал соблюдался неукоснительно, и сотни художников тщились вызнать хоть что-нибудь о своей участи через какого-нибудь мелкого клерка Министерства изящных искусств, слоняясь по Дворцу промышленности в ожидании медали или «почетного упоминания», ведь это обеспечило бы им безбедное существование на весь следующий год.

Сегодня и представить трудно, сколько отчаянной смелости потребовалось горстке тех, кого прозвали «импрессионистами», чтобы выставиться независимо, по другому адресу, принимая на себя риски первопроходцев на неизведанной территории.

Подобная дерзость тревожила Фантена. Я и теперь не уверен, был ли этот умнейший человек искренен, называя Ренуара «больным», а импрессионистов – «хулиганами». Он считал их «бесстыдниками», боялся, как целомудрие боится сладострастия. Мне же кажется, что он их нежно любил, но запретил сам себе в этом признаваться.

В начале этого очерка я уже упоминал о смятении в художественной критике предвоенных лет, о скорости, с которой очередная теория искусства сменяла предыдущую. Дошло до того, что подражание действительности и вовсе не почиталось за искусство, а живописный портрет ставился ниже фотографии и признавался таким же коммерческим жанром.

Между тем, Фантен был «портретистом», скрупулезным копировщиком природы; и если его увлекала живопись ради живописи, то «выплески темперамента», как он иронично выражался, его пугали – верный слуга реализма, скучную точность передачи он предпочитал колористическому

сумасбродству, искажению линии, поиску редкого тона и «оригинальничанью любой ценой».

«Критики-авангардисты» разнесли бы Фантена в пух и прах, если бы не его прошлое «неудавшегося», или, скажем лучше, *непризнанного* художника, и найдись среди его покупателей американцы или высокопоставленные чиновники.

Как ни забавно, но угрюмое затворничество в старой мастерской, где он сам «наводил порядок», лишь укрепляло миф Фантена, а заодно и уверенность у тех, кому нравится думать, что без смирения не может быть и таланта.